

НЕЛЮБОВЬ

Есть ли что-нибудь на свете печальнее, чем ухаживать за девушкой, которой нет до тебя никакого дела. Дарить каждую пятницу букет из двадцати семи желто-красных роз (по числу лет избранницы) и получать в ответ обжигающее арктическим холодом: «Зачем?»

«Действительно, зачем?» — думаю я.

Ей же мямлю:

— Тебе не все равно?

Она кидает чуть раздраженное «хм», берет букет, ставит в казенную хрустальную вазу, сиротливо стоящую на пластиковом подоконнике, а вечером уходит, оставляя в полном одиночестве мой презент. Дня через два уборщица нашей конторы Гульнара с довольной улыбкой уносит цветы с собой. Я давно смирился с этим и, положив руку на сердце, не сильно расстраиваюсь. Меня несказанно радует тот короткий миг, когда объект моего воздыхания неизбежно натывается взглядом на букет, округляет по-кошачьи зеленые глаза, которые на мгновение будто вспыхивают от огненно-оранжевого цвета сорта «амбианс». Собственно, все ради этой вспышки и делается...

Случается, за ней заезжает ее нынешний. Солидный, ухоженный, на темно-синем «мерине». (Мой дышащий на ладан «Ситроен» в сравнении с его — лишь жалкая пародия на авто.) Тоже с букетом, одноименного фор-

мата, только алым, цвета артериальной крови. Но его она берет с явным удовольствием и нетерпением. Дает себя поцеловать в щеку, обнять и отвезти в дорогой, как я понимаю, ресторан. Я наблюдаю за этой душещипательной сценой из окна своего кабинета. Стиснув зубы, чувствую, как все мое существо сжимается, наполняясь гнетущим страхом, который спустя пару сигарет сменяется беспросветной не отпускающей тоской. Тоской по ней. С этой-то тоской я и приезжаю домой, выпиваю пару бокалов вина и даю волю глупым надеждам. Они, как извивающиеся змеи в мешке факира, копошатся в моей полупьяной голове, меняя на пару часов настроение в лучшую сторону. Дай бог после незаметно уснуть...

Утром ужас будит меня. Ничего не изменилось. Пока собираюсь на работу, он, как угарный дым, постепенно рассеивается, оставляя легкую пригарь все

той же вялотекущей тоски. Приезжаю на работу. Опять вижу ее... Красивую и надменную. И хотя она почти не выходит из своего кабинета, знакомый запах духов преследует меня повсюду. Терпкий и вызывающий, как ее нелюбовь ко мне...

Бывает, она достаивает мою скромную персону неслыханным вниманием, неестественно дружелюбно здороваясь со мной. Так и подмывает резануть: «Да ладно тебе. Обойдусь». Но я улыбаюсь и так же натужно бодро отвечаю:

— Привет. Прекрасно выглядишь!

— Я знаю.

Но иногда случается странное. Обычно это происходит в один из выходных или праздничных дней. Звонит мне на домашний телефон часов в девять вечера. Что

и говорить, «голос томный и глубокий»:

У меня много вина, впрочем, как и глупости... Приезжай...

Срываюсь с места, как спринтер с колодок. Мой бедный «Ситроен» показывает, что еще способен на удаль молодецкую, неожиданно обгоняя своих более симпатичных и свежих собратьев. По пути покупаю все тот же букет и счастливым слюнявым спаниелем врываюсь к ней.

Она пьяна. Но не настолько, чтобы не суметь казаться способной говорить со мной.

— Как ты? — отвлеченно, словно из вежливости спрашивает она.

— Как всегда... х... — улыбаюсь придверному коврику я.

— Ну и правильно, — бесцеремонно ставит на моем минусе вертикальную жирную черту она. — Давай выпьем.

Пьем. Невзначай подсаживается ко мне. Обнимает за шею. Пристально смотрит в глаза, нижней губой целует в щеку, а после пальчиком аккуратно стирает свой поцелуй.

— Ты все такой же, — почти мурлычет, положив голову мне на плечо.

— Какой?

— Несчастный.

Неожиданно начинает жадно целовать мое лицо. Мне катастрофически не хватает воздуха, чувствую, что задыхаюсь, как поется в песне, «от нежности...»

«Ах, вот как это бывает?!» — ухитряюсь сделать глоток воздуха.

Впопыхах раздраженно сбрасывает с себя одежду

и повторяет шепотом давно знакомые слова:

— Люби же меня, люби...

В часов шесть утра просыпается, стыдливо осматривается и рукой находит мою руку, словно пытается понять, на месте ли я.

— Ты еще здесь? Тебе пора.

Второпях одеваясь, стараюсь не смотреть на нее. (Знаю, что сидит, склонив голову, по-детски прячась от меня в растрепанных волосах.) Но до слуха все же доносится сдобренный отборным матом шепот. Подхожу к двери, открываю и слышу за спиной холодящий душу постскрипtum:

— Извини, что так вышло... Дура я...

Смешанное чувство накрывает меня. Сладостная печаль или печальная сладость?! Не знаю. Скорее, светлая грусть. Ей и живу...

Мы развелись три года назад, прожив перед этим семь лет вместе. Почему и как такое случилось, теперь неважно. Важно лишь то, что мне пора идти...

ТВАРЬ

Неужели вышло?! После сонма лет бесплодных мечтаний, жалких неутомимых фантазмагорий о призрачном, невероятном, но упоительно сладостном. Три тысячи тягучих, резиновых дней и ночей мне грезился этот долгожданный миг! Светлый, свежий, как апрельский ручей, легко берущий жизнь из снега и солнца, как летнее искристое утро после утомительного обложного дождя. Вот он пришел, и дышит на меня и сквозь меня пропитанным пряным ароматом луговых трав ветром. Будит заиндевавшую, заостенелую за сонные годы плоть, возвращает к жизни, казалось, на веки погребенную душу. Свобода — имя ему! И важно ли, что вырвана она силой, а не дана даром? Бреду по ней в грязной, обглоданной тюремной робе, впускаю в себя, и знаю — она повсюду. Трогаю ее обветренными, потрескавшимися губами, жадно пью большими хлебками и не могу утолить жажду. Во всем она! Даже в проржавленном конском щавеле, в раздавленных одиночеством замшелых пнях, в серой мертвенности костлявых замоин, в малых и больших, дышащих зловонием болотных лывах. Чем заслужил я это отдохновение? За что мне такое? И никому не надобен я здесь. Разве что одиноко парящему аисту-падальщику, subtilной цапле с жирной жабой в клюве-копье? Хитрой ли сороке, тревожащей густой покоей развесистых ветвей одичалой яблони? Трудяге-

ежу, везущему на колющем тельце надломанный груздь? Может, им? Ну и слава богу...

Два дня в пути. Сухари давно съедены, сало еще раньше. В карманах дички и щавель. И то отрадно. Но знаю, куда иду. Километров пять, и начнется другая зона, зона отчуждения. Там-то и упаду...

Бронзовый, закопченный по краям диск солнца медленно прячется за ржаво-серый дирижабль облака, проползает сквозь него, спускаясь все ниже и ниже, тянется к шерстяной нити горизонта.

За молодым, редким, погнутым недавним вихревецем березняком виднеется зеркальный осколок речки, а за ней, словно только что вынутый из печи бурый каравай лысой горы. Туда мне...

Запах костра бьет по ноздрям. Голова опасно кружится от голода, глаза суетливо, по-звериному рыщут по вечерней дали в поисках отблеска спасительного огня. Где он? В глазах темнеет...

— Беглый! А долоня, як у лягвы! Ишь, какой! Сотворюэ ж боже! — слышу скрипучий голос над собой. Сам чую, лежу на чем-то меховом, теплом и живом. — Не бойсь, Веста разумна псина, не тронет...

Чьи-то вымазанные сажей ладони подносят к моему рту надтреснутую у горлышка крынку, из которой доносится запах спирта.

— Воды бы... — говорю, но меня не слышат.

Выпиваю залпом. Нутро испуганно вздрагивает, но мгновение спустя благодарно отзывается теплом. Как ни странно, будто трезвею от накопившейся усталости, оттаиваю. Те же руки протягивают обугленную со всех сторон картофелину. Разламываю надвое и втягиваю всем своим изголодавшимся существом горячий пар

молочно-белой мякоти. Блаженствую. Как мало надо мне...

Их трое. Бичи. На зоне, перед побегом, арестанты говорили о них. Первый (видимо, вожак), мужик лет пятидесяти пяти, с длинной, в просмоленных грязно-коричневых комьях бородой. На нем новенькая темно-синяя фуфайка, офицерские бриджи полевого покроя и яловые сапоги. Сидит молча, словно о чем-то думает, и внутри же себя рассуждает. Его лицо постоянно меняется, являя то беспокойство, то умиротворение, то равнодушие. Кажется, что по чьей-то неведомой воле он должен нести ответственность за своих собратьев.

Двое других — помоложе. Один — бледно-рыжий и лысый, в крупных бесформенных веснушчатых пятнах, спускающихся с безбородого, гладкого как у ребенка лица до шеи. Шея же опасно тонка, да так, что голова кажется несоизмеримо огромной, словно обузой ей. Постоянно курит махру пополам с мелко нарезанным сушеным яблоком. Смесь лихо забивает в скрученную из газеты козью ножку, близнецов которой время от времени штампует себе впрок. Беспрестанно заходится кашлем, утыкаясь ртом в свой почти детский кулачок, сморкается в большущий шершавый лист лопуха и как будто чего-то ожидает.

Другой — узкоглазый, скуластый и смуглый, с густой шапкой смолянистых волос. Деятельный, бойкий, он внимательно следит за костром и за увесистым окороком, жарящимся на стальном пруте. Постоянно недовольничает, смешно побряхтывает и матерится невпопад. Это он назвал меня беглым.

Солнце заходит, оставляя на прощание над горизонтом рваную, похожую на разлитый кисель малиновую

полоску. Редкие звезды уже смотрят сквозь уставшее, точно изношенное, дырчатое небо, а бледная щекастая луна с каждой минутой становится все ярче и мудрее.

— Сейчас начнется... — смотря в сторону лысой горы, глухим голосом говорит рыжий.

Я не придаю значения словам, наслаждаясь так вовремя пришедшей сытостью. Она разливается по изнуренному долгой дорогой телу, точно волшебный эликсир лечит его и усыпляет. Но собака-подушка вдруг вскакивает с места, становится в бойцовскую стойку и начинает истошно лаять в сторону лысой горы. Вынужденно приподнимаюсь и выжидающе смотрю туда же.

— На место, дура! — осаждает вожак. — И вы тоже расслабьтесь, дурни. Семеныч, дай беглому рогача, а то от картошки ему не больно сытно будет.

Собака перестает лаять, но не успокаивается и, покусывая, суетливо бегаёт взад-вперед. Семеныч (тот, который возится с костром) самодельным тесаком, похожим на мачете, щедро отрезает приличный кусок от почти готового окорока, вонзает в него новенький промасленный стопятидесятимиллиметровый гвоздь и протягивает мне. Я подношу кусок ко рту и вдруг слышу с той стороны реки отчаянный рев.

— Мармооороооу! Аааня!

Он то ли детский, то ли женский, но с явной примесью звериного хрипа. Вдалеке же, сквозь полупрозрачную сыворотку тумана, едва различим человеческий силуэт, то поднимающийся, то опускающийся над вершиной лысой горы.

— Что это? — спрашиваю я.

Бичи оборачиваются, переглядываются и, едва ухмыльнувшись, продолжают молчать.

— Расскажи ему, — робко обращается к вожаку рыжий.

Тот недовольным взглядом окидывает своего собрата, затем равнодушно скользит по мне, устало улыбается и, приглаживая растрепавшуюся бороду, качает головой:

— Зачем ему? У него своих проблем теперь по гроб жизни хватит.

— Расскажи, все равно-то пытаться будет, — настаивает рыжий, опустив водянисто-серые, почти бесцветные глаза. — Пусть лучше мы, чем беглые небылицы складывать станут.

Вожак нервически почесывает бороду, опять чему-то усмехается, машет рукой:

— Ладно... Только пустое все... Налей ему...

Сам еще долго вглядывается в черничное послезакатное небо, лениво выуживает из початой пачки «Астры» сигарету, задумчиво разминает ее закопченными пальцами и, чуть прищурившись на чахнувшие угли костра, начинает:

— Давно это было, еще до всего этого атомного безобразия... Ты пей, беглый, закусывай, не стесняйся. Бери, пока дают... На той стороне деревенька имелась, она и сейчас есть, но не та уже... Безлюдная, пустая... Работал я там пастухом, если занятие это работой назвать можно. Пил по-черному, мда... Со скотиной поведешься, в скотину и превратишься. Так вот, приехала к нам из Гомеля, или из-под него, бабенка чудная. Цыганка ли она была, мультянка, черт ее разумеет, но то что не наших славянский кровей — точно. Чернявая, кудрявая, подбористая. Красивая, падла. А самое главное, на нашего брата падкая. Многих к себе из местных приваживала, пускала то бишь. Я и сам к ней попервой частил, пока не понял,

кто она есть и по какую сторону от Бога находится... О, слышь?!

Вдруг опять доносится до нас отчаянное, задиристое: «Мармооороооу!» — только глуше и жалостливее...

— Вот, животинка! Как смерти просит! — прислонив указательный палец к уху, восклицает вожак. — Невмоготу, видать! Ты только подивись, беглый!.. Ну, так о чем я гутарил-то? Ах, ну да... Говорю... А что?! Был грех такой, да и не мужик я, что ли? У нее-то стегна, уух, широченные, а талийка, если двумя ладошами перехватить, коряги-то и смыкаются. Во, какая! Так-то... Жила она попервой вроде как все, хотя, признаюсь, было в ее наружности что-то нечистое, темное, другими словами, умишке простого человека неподвластное. Я так разумею, чаклунка она была природная. Бабы местные, прознав о ее способностях, животинку приводили хворую, да мальцов пуганых. Та и заговаривала их по-своему. Как-то жила, в общем, да и народ со временем к ней пообвыкся. А куда деваться? Жизнь-то никто не отменял! Хотя, повторяю, особой любви не испытывал по причине мной названной. А еще сказывали знающие люди, грех на ней смертный висел, с малолетства. Будто насильничал ее некто, и она вроде как младенца выродила порченого, с ладошками як у пипы, перепончатыми, и, испугавшись изрядно, на смитник снесла. Отвязаться, значит, хотела. Ну, вот и отвязалась, а черт ее за это и наградил чарами бесовскими... Так-то... А когда громыхнуло в восемьдесят шестом, всё тут замысловатое и началось. Народ разумный быстренько поразъехался. Остались лишь песочники, да такие, как мы — бедолажные, которым ехать особо некуда. И она почему-то осталась. Да кто ж ее знает? Думаю, не было у нее никого, кто бы

ждал ее и принял. Стала бы она, кабы все путем шло, из Гомеля в нашу тьмутаракань тащиться? А еще сказать надобно, скот и прочая живность, которую в расход пустить не успели или не захотели, разбрелась повсеместно бесхозным образом. Одних волки задрали, другие сами пали, еще каких оставшиеся людишки к себе позабирали... А что, молоко хоть и фонит изрядно, но ведь молоко-ко! И вот она из таких, стало быть. Много чего себе в хозяйство подобрала, хотя раньше, окромя курок, ничего-то у нее и не водилось... Хряка породистого, блудного из сосняка вывела, свиноматку супоросную заимела, коняка точно был, корова, коза... Я еще потешался тогда над ней: «Це ж як одна жинка таким зоопарком керуваты здатна?» Но, что и говорить, управлялась...

Прошло года два и стали крики жутчайшие из ее хаты доноситься, да такие, что не то что попытать, а подойти было страшно... А еще через годок начали до нее машины дорогие со столичными номерами приезжать. Откуда прознали? С другой стороны, на то она и власть, чтоб обо всех и о каждом в отдельности представление иметь. Так-то... Приезжали и забирали у нее в ящиках оцинкованных «что-то», «это самое», о чем и догадаться боязно. Но она довольная ходила, гордая даже. Может, приплачивали ей?

Когда же еще пару годков минуло, захворала крепко, видать, не всем здесь в полном здравии оставаться. Радиация, как-никак. Исхудала до неузнаваемости. Скелет, кожей перетянутый. Но стоит отдать должное, как-то шаркала, ходила, значит. Сколько ж веревочка не вейся, концовка одна... В общем, нашли ее бездыханную бичи наши в березняке малом. Ты поди, беглый, проходил его? За сыроежками, должно быть, выползла. Они в те

годы крупные вылуплялись, после дождичка-то особенно, с кавун страханский размером.

Хоронить на кладбище не посмели, потому как ведьм разношерстных не положено хоронить в людских местах. Свезли на лысую гору, там у нас раньше давлеников и душегубцев упокоивали... Привезли и похоронили. Креста, понятно, не справили. Денька через три приехала опять тарантайка дорогая, покрутилась вокруг хаты и ни с чем укатила. А мы что ж, люди любопытства не меньшего, в дом ее тоже заглянули. Да ничего в нем необычного не сыскали. А вот зато в сарайчике сыскали. Там, кроме мест для живности ее многочисленной, было еще одно место странное, вроде как каморочка. В сарае-то! И была в той каморочке люлька, под существо человеческое приспособленная, да только от колоды сарайной мотузка тянулась, и была та мотузка крепчайшая, канатная, должно быть, но — а в этом вся суть — оборванная, а вернее сказать, перекусанная. По всему видать, та тварь, там обитавшая, сбежала... Сечешь, беглый? То-то... Узнали об том все уцелевшие деревенские, милиция тоже прознала, и русская, и украинская, и белорусская. Стали шукать. Но ничего не нашли, хотя слыхать слыхивали и даже издали бачили... Поймать же сноровки не хватило, и по сей день не хватает. Потому как в твари этой есть что-то не от мира сего... Ты ешь, беглый, ешь! Чего стремишься?

Я гляжу на зажаристый, порядком подостывший кусок лосятины, но понимаю, что после таких рассказов не полезет он в нутро мое.

— Не лезет... — говорю.

— Да чего там не лезет! — усмехается вожак. — Ешь, не бойсь. Здесь поживешь, и не такое услышишь!

И за себя, грешного, не переживай. Я тебе поутру все растолкую. Как, чего тебе робить надобно. Есть тут хаты пустые. Ты хлопец крепкий — выживешь! Много тут вашего брата прячется, в зоне-то... И она, тварюга, тоже прячется. Выходит, похожие вы во всем... А ведь сколько с той поры годков минуло, за двадцать будет, а она все жива, тварюга эта. И ходит до мамки своей на могилку-то. Хнычет всё, воет... Видно, даже у твари безродной душа имеется. Да только не знает она, бедолажная, как с ней распорядиться. Да и виновата ли она в чем, если поразмыслить? Мамку же не выбирают... Иные человеки куда хуже будут. Понатворят за жизнь свою чертовщины с три короба, и живут припеваючи. А обличье у них человеческое, не звериное. Тут же напротив все... Вот и кумекай... Эх, спать надобно. Спи, беглый, и вы все спите... Веста, иди к беглому...

Утро острием солнечного луча безжалостно бьет по глазам, вспарывает по шву, казалось, сросшиеся за ночь веки. Веста уже вертит пушистым хвостом, радостно бегая за всюду суевающимся Семенычем. Рыжий, сгорбившись, сидит на невысоком пеньке и, время от времени шурясь от восходящего солнца, чистит картошку...

Вожак зачем-то крутится около яблони, курит и все бормочет себе под нос:

— Приходила, приходила тварюга... Вот же...

Через час я уже шагаю за ним к близлежащей мертвой деревне. Послушно внимаю вкрадчивым наставлениям бывалого, всезнающего бича. Что ожидает меня там, за рекой, не волнует. Будущее, как и прошлое, теперь находится по обоим краям узенькой тропинки под названием жизнь. Одна она представляет для меня инте-

рес.

И только подходя к реке, случайно оглянувшись на оставленных позади Рыжего и Семеныча, припоминаю увиденное ночью.

Помнится, заснул сразу, да и как не заснуть после двух дней изматывающего пути, чистого спирта и удивительных сказок на ночь. Да еще под разноголосый убаюкивающий треск цикад, кузнечиков и непрерывное залиvistое кваканье болотных жаб. К тому же, воздух ночной, перемешанный с терпким дымом костра, настоящий на луговых травах и пропитанный сладковатой сыростью близкой речки, обжигал своей свежестью и подобно морфию усыплял. Удивительно, но не привиделось мне ничего дурного тогда, хотя должно, наверное, было привидеться. Спал я сном мертвецким, каким бог награждает лишь в раннем детстве. И только под утро, когда псина, притомившись лежать подушкой под моей головой, поднялась и распласталась в ногах у жоака, очнулся я и увидел возле развесистой яблони какое-то существо. Пола оно было женского и облика необычного. Голое, с кожей человеческой, но огрубевшей, словно подпаленной огнем, и покрытой всюду обильной клейкой испариной, с шестью кровоточащими сосцами, щетиной черной усеянными, и с таким же, как у варанов тропических, бородавчатым гребнем на холке. Руки же у него — крохотулечки не доросшие, а ноги, напротив — толстые, слоновые, с раздвоенными бурыми копытцами. На голове же волосня черная с частой проседью, почти человеческая, только гуще, длинная и вьющаяся...

Смотрю я и понимаю, что существо это слепое, потому как глаза его наглухо затянуты бельмами размером с пятак. Стоит оно, и добродушно лыбится рыльцем

пороссячьим. Словно донести до меня хочет: «Пойдем со мной, человечище! Или не такая же ты тварь, как и я?! Вместе-то нам сподручней управляться в миру будет...» И, мол, никуда тебе от этой правды не деться!

Но не боюсь я почему-то. Не боюсь и все. Может, оттого, что зверю зверя бояться незачем? Одной ведь кровушкой живы. Привстаю на корточки, думаю подняться, подойти ближе, но оно возьми и испарись, будто и не было его вовсе...

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

То ли дело мой первый парад. Осенний, ноябрьский, восемьдесят девятого. Один из старослужащих говорил тогда, показушно стряхивая пепел в ладошку, вспоминал свой первый:

— Гимн играешь и сам себе удивляешься — мурашки по коже, слезы на глазах. Гордишься происходящим и своей причастностью к чему-то великому, настоящему...

Не верил я ему тогда. Да и никто не верил из молодых. Слушали, посмеивались в сигарету. А время подошло — узнали, ощутили кожей. Сердцем поняли, что не все так просто и приземленно. Как ни крути, есть в этом действе что-то мистическое, неподвластное рассудку и воле. Точно есть. Да и как не быть, тысяча человек трубит одно. Но это одно — выстраданное, великое, необходимое, как кровь. Стоим, вытянутые в струну — винтики-шпунтики, но не понятно почему, непередаваемо приятно ощущать себя этим винтиком. Гордыня — через пятки в землю, гордость — свечой в груди. Парадокс, но факт. А тут дождь еще. Брусчатка мокрая, скользкая, зеркально-серебристая. Боязно по ней расхаживать в хромовых сапогах на тонкой гладкой подошве. Опасаешься, как бы не навернуться на глазах у всей страны. Тоскуешь по кирзачам. Тем не менее, шагаешь, чувствуя ступней каждый бугорок, каждую выемку. И знаешь, что помнят эти бугорки и выемки другие сапоги, тех других,

которым мы — не чета.

Теперь иное дело. Всё знаешь, ничему не удивляешься. Всё по накатанной. Вертушка, репертуар. Запах гуталина и мефикса, аксельбанты, бляхи на белых лакированных ремнях, солнечные зайчики повсюду от меди надраенной. Хотя дата обязывает относиться к делу с особым усердием. Сорок пять лет со Дня Победы, как никак.

Поутру армейский харч не лезет. Чай да хлеб с маслом запихнешь в нутро, «явкой» на халявку подымишь — и на аэродром. Репетировать! Пока доедешь, голод предательски даст о себе знать. А там пища только «духовная» или, лучше сказать, духовая, в виде маршей и «зорок». Крышу от них рвет с корнем: «Все выше и выше, и выше...» И так пару десятков раз за день. Один «Десантный батальон» Окуджавы, пожалуй, радуется. Но его редко исполняем — когда техника катит. А катит она медленно, мощно, окутывая всё и вся черно-сизым мраком выхлопных газов. Намертво заглушает звериным рыком тысячный оркестр. И не помогут тут ни трубы, ни барабаны, ни геликоны. Безоговорочно капитулируешь перед ней, ощущая явную бесполезность оркестровых партитур в военном деле. Понимаешь или догадываешься, что такое война. Примерно, конечно. Они ж, дуры, просто едут, не стреляя, не взрывая. А если по-другому?! Не приведи Господь.

Периодически привозят ветеранов. Строят. Командуют стариками. Учат маршировать, держать равнение, тянуть носок. Заново. Они не то, что мы. Подход к делу сознательный. Знают, что за праздник, не по календарю знают, и цену ему. Стараются изо всех сил, правда, не без волнения. Как дети переживают, если что не так полу-

чается. Больно смотреть порой. Слава богу, для них, ну и для высшего командного состава, конечно, расположили на обочинах темно-зеленые шатры — полевые буфеты. В перерыве заскочил в один на свой страх и риск: пепси-кола, бутерброды, печенье. Нормально. Там же невдалеке «скорая» на стреме. Кому-то из стариков, помню, стало плохо. Увезли...

До генеральных репетиций на Красной площади дней пять-шесть. Приехал начальник московского гарнизона. Посмотрел на все это «безобразия» и... забраковал. Типа, как в том анекдоте: танки едут не туда, пехота бежит не сюда, а если война, кто будет Родину защищать? Но если серьезно, не понравилось ему все, как говорится, от увертюры до коды: и как войска шагают, и как техника едет, и даже ветераны какими-то не такими вышли — вялыми, что ли. Оркестру тоже досталось «по самый си бемоль». Наш музыкальный генерал в тот роковой день походил на рядового, даже генеральская звезда потускнела и уменьшилась до лейтенантской. Бегал, кричал, стращал. В итоге, приказал все поменять к ядреной фене. И это за неделю-то до парада! Прикрепленные к нам дирижеры-майоры после этого как с цепи сорвались, не зная, что придумать. Придумали. Ввели в программу парада дефиле. На человеческом языке это что-то вроде танца с музыкальными инструментами. И правда, нет ничего забавнее танцующего солдата... Тут главное не запутаться. Запомнить, куда поворачивать и сколько шагов идти. Меня бог миловал, в этом смысле.

— Это ж надо, — говорил один мой сослуживец тогда, — месяц муржить, заучить все как следует, а за несколько дней до мероприятия поменять. И так все осточертело. Люди, наверное, смотрят на нас, и понять

не могут: чем это солдатики занимаются?! Парад репетируют или дерьмо под музыку месят?!

И впрямь, все осточертело и всех достало.

Парадная подготовка начинается месяца за три с половиной до самого парада. Сначала в самих частях. Учим репертуар, ту же вертушку сдаем по одному старшине или начальнику оркестра. Потом в «Лужниках» доводим до ума. Опять же, что-то вроде экзамена. Все оркестры московского гарнизона раскидываются по лужниковским аллеям и паркам. Соревнуются между собой, кто громче, кто четче.

А уже после всего этого на Ходынское поле...

Но тем и сильна наша доблестная армия, что нет для нее непосильных задач. Приказали переучить, переучим. Хоть за ночь до парада.

И переучили... За день до генеральной репетиции приехал министр обороны. Для обычного рядового лейтенанта безусый — лицо авторитетное. Полковник — царь. О генералах и говорить нечего — титаны. Поэтому министр обороны — почти Бог. Вернее, без почти, Бог — и все. Смотришь на него, как на очевидное-невероятное, восьмое чудо света, трепещешь. И все в строю трепещут, от старшин до генералов. На том армия и держится, как я понимаю.

Прибывший на прогон министр был последним из своих предшественников, кто сам прошел Отечественную войну. Странно, но, увидев его, я, вопреки ожиданиям, не испытал того холопьяго страха, к которому, увы, и меня приучила армейская служба. Судя по всему, это был человек по своей природе мягкий, с хорошо устоявшимися гражданскими принципами, хотя и старой, конечно, закалки. Не веяло от него ни солдафонской

строгостью, ни показным высокомерием, которыми до мозга костей были пропитаны его золотопогонные подчиненные. Я, не испытывавший к отцам-командирам, да и вообще к армии особой любви, по-хорошему удивился его открытому улыбчивому лицу. Сама собой всплыла в памяти строчка из лермонтовского «Бородино»: «Слуга царю, отец солдатам». Сегодня, зная о событиях августа девяносто первого года, можно сколько угодно посмеиваться над этим, но тогда, в первых числах мая девяностого я (да, может, и не один я) думал именно так.

Затем следовали две ночные репетиции на Красной площади, и на каждой разе по два прогоняли весь парад. В принципе, ничего особенного. Единственное, что заставляло содрогаться, так это заполонившая центральные московские улицы тяжелая военная техника. Невольно вспомнилась черно-белая, пробитая серой рябью, военная кинохроника уличных боев. Привыкли мы к этой кинохронике. Смотрим ее, как что-то совершенно нас не касающееся, мифическо-эпическое. Отстраненно смотрим. А ведь на самом деле, все там нас касается. Не было бы этих боев, не было бы ни нас, ни вообще всей сегодняшней жизни. А она — есть. Плохая ли, хорошая ли, кому как. Но мирная. И в этом вся соль. В этом вся правда.

Меня всегда поражало то обстоятельство, что День Победы приходится на самое прекрасное время года, когда все вокруг покрыто молодой листвой, первыми цветами и обласкано начинающим набирать высоту солнцем. По мне, так это знак Господа: истинная, праведная победа не могла случиться ни зимой, ни осенью, ни даже в разгар жаркого знойного лета. По крайней

мере, мне так кажется.

И вот именно в такой солнечный и зеленый день я стоял во втором ряду с правого фланга. И все выглядело точно так, как и полгода назад, только гораздо торжественней, светлей и ярче. На параде было множество новшеств, одно дефиле чего стоило. Художники-оформители воспроизвели памятник воину-освободителю в Трептов-парке. Его изображал не то артист, не то действительно солдат, державший на руках девочку. Одну из войсковых частей московского гарнизона переодели в форму времен Великой Отечественной войны. Если не ошибаюсь, была даже конница.

Но радость почему-то не проникала в меня. Все смотрелось бутафорски, как декорация к давно наскучившему спектаклю. Гимн звучал обыденно и вяло, а ветераны, наряженные в безвкусные серые костюмы, показались нам чрезмерно уставшими. Ничего, кроме сочувствия, они у нас не вызывали. Хотелось, чтобы поскорее все это закончилось. Почему? Не знаю. Быть может, потому, что наступало новое время? Оно на наших глазах стучалось и рвалось на тоже как-то бутафорски расчерченную белыми линиями Красную площадь.

Проехала техника. Оркестр быстро перебежал на исходную позицию и двинулся вперед. Мой сослуживец Дима Хенкин шел с малым барабаном первым в шеренге, я с большим — вторым. На подходе к Мавзолею он в вполголоса сказал мне:

— Смотри, Горбач!

— Ага. Похож. В «увал» куда пойдешь сегодня?

— Не знаю. Может, к родственникам. А ты?

— Пиво пить на Арбат.

— А это что за хрень? — вдруг опять произнес

Дима. — Слышишь?

И правда, на тухмановский «День Победы» откуда-то сверху наслоился «Солнечный круг» Островского. Через несколько секунд оркестранты стали сбиваться с шага и вскоре возникло замешательство. Солдаты и сверхсрочники смотрели на растерянных майоров. Те, в свою очередь, смотрели на генерала, который, как запрограммированный киборг, маршировал впереди, размахивая тамбурштоком. Большая часть оркестра еще не прошла мимо Мавзолея, а значит, (учитывая прямой эфир), вся эта чехарда стала слышна и видна, как на ладони. Спирной почуяв неладное, генерал дирижерским жестом прекратил нам играть, оставив звучать доносившийся из многочисленных динамиков «Солнечный круг». Нам же приказали что есть мочи бежать в сторону Васильевского спуска. И мы побежали: с большими барабанами, лирами, геликонами... Тысяча человек. Кажется, кто-то даже упал под конец...

А дело все в том, что вслед за оркестром, завершавшим военный парад, должны были выбежать дети с воздушными шарами, чтобы подарить их ветеранам, сидевшим на каменных скамейках близ Кремлевской стены. Но кто-то из звукорежиссеров включил музыку раньше, чем оркестр закончил свое шествие. Нам — молодым солдатам было, конечно, весело созерцать, да и участвовать во всем этом недоразумении, но представление было испорчено. Телеоператоры, вовремя сообразившие, что к чему, быстро отвели камеры в сторону ГУМа. Случившееся усилило мое равнодушие к происходящему и заставило думать о совершенно других, более насущных вещах: об увольнении, о родственниках, о пиве на Арбате.

Так закончился последний Парад Победы в стране, которая чуть больше чем через год прекратит свое существование. Жалко ли мне этой потери?

Не знаю.

Мы поколение раздвоенное, как бы разорванное на две части. Одной ногой мы стоим в той, советской жизни, где все-таки было много хорошего: великая победа в войне (на ней погибли мой дед и прадед, о чем я забывать не могу, не имею на то права), полет Гагарина, наше мирное, и, в общем-то, счастливое детство и юность. Было, конечно, и много плохого. Но ведь запоминается только хорошее.

Радуюсь ли я тому, что происходит сегодня? Тоже не знаю. Об этом надо спрашивать у молодых, тех, кому сегодня — по двадцать. Им не с чем сравнивать: они в этой жизни родились и выросли, и лучше меня знают, что в ней хорошо, а что плохо.

Я же, чем дальше уходит время, тем все чаще и чаще вспоминаю последний свой парад в составе сводного музыкального оркестра на Красной площади, и мне приходит в голову запоздалая и, наверное, странная мысль: может быть, не зря, не случайно в тот день одна музыка наложилась на другую, и мы, такие натренированные и сильные, вдруг сбились со строевого шага и скопом, натыкаясь друг на друга, побежали с Красной площади вниз по Васильевскому спуску...